

Загадка Некрасова

... Что же случилось со мною?
Как разгадаю себя?..

Некрасов

Некрасов, для людей моего поколения, - детство; самое раннее, почти младенчество. Некрасов, - без имени, конечно, - в песенках: дедушка за винтом, мурлыкающий приятно-непонятное: "разбиты все привязанности..." или тетя за роялью: "жадно глядишь на дорогу...", "молодость сгубила... два--три цветка...". И сколько еще другого всякого пения! Это правда, что главное свойство поэзии Некрасова - "песенность". Не напевность, о, нет!, а именно песенность (лучших вещей, конечно): критика отметила ее справедливо. В песнях он тогда еще и оставался живым, да, пожалуй, в разных "крылатых" словечках и строках, которые мы слышали от "больших" и так запомнили (детская память!), что и через тридцать лет встречаем, словно старых знакомых. Но и только. Во времена моего - нашего - детства Некрасов, думается, был уже на кончине. Научившись читать, мы читали его в хрестоматиях, и даже книжки его, но читали (я и мои сверстники) не как стихи, а как рассказы. "Влас", "Коробейники", "Саша" - разве не рассказы, довольно интересные? Стихи же совсем другое. Стихи - это Лермонтов, но и какая-нибудь случайная дрянь в случайном томике, казавшаяся, по тогдашнему чувству, ближе к Лермонтову, чем к Некрасову. Сатиры его даже меня, с моей ранней склонностью к сатирическим стихам, к эпиграмме, глубоко не интересовали.

Впрочем, говоря о Некрасове в своем - нашем - детстве, я не останавливаюсь на частностях, беру общее положение.

Когда мы подросли, когда моими сверстниками (немного старшими) оказались студенты, эти студенты были, в громадном большинстве, еще типичная, буйно-"либеральная" (как тогда говорили) молодежь; в ней чувствовалась писаревщина, всякие "заветы", что угодно; влияния же Некрасова, непосредственного во всяком случае, совсем не замечалось. Он со своей "Музой гнева и печали" был забыт. Народовольчество искало своих форм, и дух его был далек от поэтических стенаний и умилений Некрасова. Молодежь распевала при случае, не "Бурлаков" (которых, кстати, уже и не было), не "Укажи мне такую обитель", а разве "Есть на Волге утес..." (и чье оно, это несчастное стихотворение?). Если же, на "либеральных" вечерах, ей приходилось слушать стихи - бурно аплодировала белой бороде Плещеева (петрашевец!), его стихам "Вперед без страха и сомненья!". Пользовалась успехом и "Море" Вейнберга, обличающее всякую "усталость и болезненную вялость".

Все это были отголоски шестидесятничества, когда литература, шедшая до того времени рука об руку с общественностью, была затоплена более высокой ее волной. И надолго. А почему забыли Некрасова, который считался столько же "общественником", сколько поэтом, на это есть свои, довольно сложные, причины.

Лишь в конце прошлого века литература начала свое мучительное возрождение. Высвободиться она могла только для нового, отдельного существования, с резким отталкиванием от общественности. Процесс нормальный, хотя подчас и уродливый. Но в литературе возрождавшейся Некрасов оставался таким же забытым, как в современной общественности: эта продолжала свой путь, занятая дальнейшим "оформлением заветов". К новой литературе отношения не имела; или, при случае, имела враждебное.

Что же такое забытый Некрасов, кто он? Поэт и борец? То и другое? Или ни то ни другое? Что он за человек?

Очень важно для человека его место *во времени*. Им многое определяется; многое - но не все, будем помнить.

За несколько лет до войны появились первые исследования о Некрасове, с новыми материалами. Один из занявшихся им - Чуковский. Его работа осталась незаконченной; его разбор техники некрасовского стихосложения нас сейчас не интересует; его собственные выводы и суждения о человеке-поэте узки, а кое-что преувеличено. Однако многое в фактическом исследовании его ценно. Между прочим - определение места Некрасова во времени. Он, действительно, жил в двух эпохах. Начал жизнь в одной и как бы перенес ее, сам, в другую. Слишком известно несходство эпохи сороковых годов с эпохой шестидесятых. Тонкий и шаткий мост соединяет их. Он хорошо знаком Некрасову. Первые друзья, - Тургенев, Грановский, Герцен, Дружинин, - оставались близкими его сердцу даже тогда, когда отвернулись от него; когда потянулся он к "новым мальчикам", - Чернышевскому, Добролюбову, - вторым друзьям, которых не понимал... да понимал ли он, как следует, и первых? Самая суть их, то, чем они, хорошо ли, плохо ли, жили и что эпоху окрашивало, все это было ему чуждо, было "не его". Люди сороковых годов, по своему утонченные (и слабые), кончали послепушкинский период "барского культурничества". Примесь новой "гражданственности" по существу их не меняла. Некрасов, имея в себе кое-что и от них, был, однако, замешан на других дрожжах.

"Он принадлежал к двум эпохам, главное в нем - его *двойственность*, - говорит Чуковский, - он барин и плебей, поэт и гражданин...". Настаивает на "двойственности", думая, кажется, что дает ключ к пониманию всей человеческой сущности Некрасова. Но если жизнь на рубеже двух эпох имела на него влияние, пусть и серьезное, - можно ли свести к этому влиянию его всего, с его деятельностью, характером и творчеством? А сказать "двойственность" - это ничего не сказать; это лишь желание упростить человека большой внутренней сложности.

Первые друзья Некрасова, культурники и гуманисты, не могли, в конце концов, не отвернуться от него. Внешние поводы, личные и общественные придали только особый привкус разрыву. Без них было бы то же самое. Не "барство" отталкивало их от Некрасова: ведь в нем, рядом с "плебеем" жил и "барин". Не европеизм, тогдашнее "культурничество", хотя его в Некрасове не имелось ни на грош. Ничто в отдельности, но все отталкивало их; ощущение, что это человек совсем какой-то другой природы; другой природы и самая его "гражданственность".

У них были свои традиции. Некрасов к ним не подходил, (да у него, кажется, никаких не было). С высоты этих традиций люди сороковых годов, сентиментальные и жесткие ("чувствительно-бессердечные") очень скоры были на суд и осуждение. Углубляться не умели или не желали: было не в моде. Так повели они суд над Некрасовым и понемногу, один за другим, решили все: достоин "презрения". Стихи? Как *такой* человек может писать *такие* стихи? Еще один повод для презрения!

Даже Белинский, связанный с Некрасовым особо нежной дружбой и долго не сдававшийся, кончил тем же. А Белинский еще не все "грехи" друга знал, рано умер. Но всех переждал в презрении и осуждении Герцен. Правда, тут замешалось денежное дело его друга Огарева. Поспешность Герцена тем не менее удивляет. Казалось бы, довольно минуты спокойного рассуждения, чтобы увидеть маловероятность обвинений: Некрасов или нет, но человек на виду и сам притом состоятельный, вдруг присваивает чужие деньги, - плохо будто бы лежат. Да еще деньги чуть ли не друга и тоже не безызвестного! Любой человек с практическим смыслом этого бы не сделал, - разве kleптоман.

Но спокойными рассуждениями в то время не занимались, особенно если дело шло о Некрасове. Герцен в письмах продолжает называть его "вором". "Растоптать ногами этого негодяя!". Не пропускает случая и вообще поиздеваться над ним: "Некрасов в Риме! - пишет он Тургеневу. - Да ведь это шука в опере!" (Словечко, весело подхваченное другими некрасовскими "друзьями".)

Герцен, человек несомненно талантливый, - типичный сын сороковых годов со всеми присущими эпохе чертами (вплоть до сентиментальности и жестокости); он редкий счастливец: сумел остаться "иконой" для целого ряда следующих поколений.

А Некрасов не нашел ни счастья, ни покоя у новых друзей, - "новых мальчиков". "Семинарское подворье!" - насмеялись над Чернышевским и Добролюбовым старые друзья поэта. Они его уже "презирали", однако переход к новым друзьям сочли "изменой".

Много всяких измен поставлено на счет Некрасову. Что они такое? Откуда? И не было ли в нем самом чего-то до смерти неизменного? Это мы увидим, если увидим его такого, каким он был в действительности.

Шестидесятники, к которым по колеблющемуся мостику перешел Некрасов, уже имели свои традиции, и к ним он тоже не подходил. Для этих людей он был слишком "утончен"; разговоры с "Музой" казались им делом малополезным, - да еще такие унылые! Любовного союза и тут не вышло. Исключение, может быть, Чернышевский: вплоть до ссылки он не изменил своего отношения к Некрасову. (Кое-чем лишь тихо огорчился, резким обращением с Панаевой, например.) Но Чернышевский сам был природно-тонкий и глубокий человек: белая ворона среди шестидесятников. Он, конечно, не понимал Некрасова; но, должно быть, прикасался порою, темно и горячо, к темной глубине своего несчастного друга.

Новейшие исследователи Некрасова поднимают все те же, старые вопросы: был ли он искренен в своей поэзии? В своей "гражданской скорби"? Настоящий ли он поэт? Чем объясняются противоречивые поступки его жизни? И, наконец, - как соединить его живую деятельность с состоянием пронзительного уныния, с постоянными, почти не покидающими его, душевными терзаниями?

Главный апологет Некрасова - Чуковский - отвечает на все обстоятельно: конечно, искренен; конечно, поэт настоящий, подлинный, хотя и стоит особняком.

В подлинности его поэзии, никто, положим, не сомневается: не только большой поэт, но даже настоящий поэт - *лирик*. Чего, например, стоит вот это, почти магическое стихотворение:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война.
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив.
Да изгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

Противоречия Некрасова-человека Чуковский объясняет все той же "двойственностью": сын двух эпох. У него "нет метафизики", но она, по Чуковскому, ему и не нужна: слишком полно, жадно, любил земную жизнь, земную плоть. Идеалы его тут - "гомерические". Описание села Тарабогатай, его могучей сытости, веселья, всяческого изобилия, - да ведь это рубенсовская картина! - восхищается критик.

А вот что касается сплошного состоянья несчастья этого жизнелюбца, уныния, или буйно терзающей боли, "хандры", как две капли воды похожей на предельное отчаяние, это...

Но здесь Чуковский вдруг останавливается. Простодушный критик старого времени, какой-нибудь Скабичевский, не затруднился бы: как, мол, не унывать, не печалиться, если видишь, что идеал еще далек. Если вместо Тарабогатай - "холодно, голодно в нашем селении...". Можно и похандрить в ожидании лучших времен...

Но Чуковский не так простодушен. Он сам же только что описал эту дикую "хандру" Некрасова; сам назвал его "*гением уныния*". Ему хочется найти свое объяснение. Собрался, было, сослаться на плохое здоровье Некрасова, на физические причины, - и опять остановился:

нет, болезни, возраст, ни при чем: девятнадцатилетний здоровый юноша уже был тем же "гением уныния", так же терзал себя в такой же черной хандре. Не лучше было и во дни расцвета его деятельности, и даже во времена счастливой как будто любви.

Именно внутренние терзания доводили его до болезни физической. До того же, по свидетельству Чуковского, доводило и "вдохновение"; а разве в нем, - в создании лучших вещей, - Некрасов не гений уныния?

Он любил жизнь... Да, так любил, что-либо катался в судорогах, ее проклиная, либо стонал над ней, уподобляясь своему кулику:

Словно как мать над сыновней могилой
Стонет кулик над равниной унылой...

Откуда это? Что это за странное несчастье? Сколько ни узнаем мы о Некрасове фактического - остается какое-то туманное пятно, внутренняя в нем загадка. Современники о ней и не подозревали; уж конечно, ничего не знал и он, - из сынов своего века самый бессознательный! - только глухо и тяжело ее ощущал порою:

Что со мною случилось?
Как разгадаю себя?

Но мы глядим издалека. Неужели десятилетия, прошедшие с некрасовских времен, Достоевский, Толстой (те, которых Некрасов еще не знал) - не научили нас острее всматриваться во внутреннего человека? Попробуем всмотреться так в Некрасова.

Все в нем - крупно. "Могучие", по его собственному выражению, страсти; большие, разносторонние дары. И вот что важно: сверх других был послан Некрасову еще один редкий и страшный человеческий дар. Страшный потому, что при темноте сознания (а она как раз была у Некрасова) он может разжесть душу, превратить жизнь человека в непрерывное кровавое боренье.

Этот дар - *Совесть*.

Человеческая совесть... Мы не удивляемся, мы привыкли к этому слову, принимаем его, когда речь заходит о Толстом или когда мы слушаем самого Толстого. Были и до сих пор есть люди, думающие, что Толстой своей "совестью" (переворотом) губил и погубил себя. Но Толстой и его совесть - почти не пример: Толстой осознал, назвал ее; нашел уже на старости лет, после сравнительно счастливой, независимой жизни в других условиях другой, не некрасовской, эпохи. Оттого, или же оттого, что его страсти не были так "могучи", как у Некрасова, Толстой, в сущности, не знал глубины его падений, не знал, вероятно, и всей глубины его мук, - темной их непрерывности, во всяком случае.

Совесть - странный дар. Кому какая мера ее дается? В Некрасове она жила с детства и все росла, хотя он о ней не думал. Тем была она страшнее: как слепая змея в сердце. Он не умел защищаться от своих страстей, они легко овладевали им; тем легче, что он искал каких-нибудь "передышек": забыть терзания. И забывал... Но как же потом змея ему мстила!

"Я веду гнусную жизнь, - писал он молодому Толстому. - Бессонные ночи отшибают память и соображение... Да, я веду глупую и гнусную жизнь! И ей доволен (курс, подлинника), кроме иных минут, которые зато горьки, но, видно так уж нужно".

Некрасов никогда ни перед кем и ни в чем *не оправдывался*: он только просил прощенья. Родине, друзьям, врагам, любимой женщине он говорил "прости"! "Прости" было и последним, невнятно прошептанным словом его перед кончиной.

Совесьть, - все она же! - вырастая, переплеснулась через личное, пропитала его любовь к земле, к России, к матери и, в мучительные минуты "вдохновенья", сделала его творцом неподражаемых стонов о родине. Неужели это лишь песни "гражданской скорби", как тогда говорили? Вслушаемся в них: поэт не отделяет родину-мать от себя самого; он мучается за нее и за себя вместе, даже как бы ею и собою *вместе*. Или вдруг вырывается воплем его "прости":

Прости! То не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь.
Но я гибну! И ради спасения
Я твою призываю любовь...

Вне этих песен-стонов (а не в них ли его суть, он сам?) так называемая "гражданская скорбь" Некрасова условна, суховата, а главное - беспредметна. Пользуясь легкой способностью слагать стихи, он нанизывает бесконечные строчки. Он "бичует", он "негодует", "возмущается", но чем, собственно, и во имя чего - сам определенно не знает. У него нет, как говорится, "убеждений", нет никакой практической линии, а идеалы смутны, (не идеал же, в самом деле, Тарабогатай!). Он беззащитен против своих общественных "измен" так же, как против личных "падений", страстей. Но все чувствует - потом:

Тяжел мой крест. Уединенье,
Преступной *совести* мученье...

Нет покоя и в светлые минуты: и тогда -

Вспоминается пройденный путь,
Совесьть песню свою запекает...

Слово "совесьть" почти так же часто повторяет он, как "прости", и в письмах, и в стихах. В эпосе, в поэмах, постоянно возвращается к тому же: падение - позор - покаяние. Влас "в армяке с открытым воротом" или в другой одежде, в поле, в лесу, в городе, - преследует поэта сквозь все годы его жизни. И все увеличивается как будто тяжесть: "Тяжелый крест...", "Тяжелый год...", "Точит меня червь, точит... Очень тошно... Очень худо жить...".

"Всему этому есть причина, - пытается он догадаться, но прибавляет: - а может быть и нет...".

Непонятно, почему новейшие апологеты Некрасова заняты главным образом тем, чтобы его *оправдать*. Именно - оправдать (вспомним, что он сам себя никогда не оправдывал). Чуковский даже первой своей задачей поставил это "оправданье" Некрасова; и подробно разбирает жизненные его "падения" и общественные "измены" {Кстати: желая доказать, что поступок Некрасова, поднесшего, как известно, оду Муравьеву, ничего особенного в ту пору не представлял, критик пишет, красок не жалея, картину унижайнейшего падения русского общества: подлость, трусливое, варварски-глупое угодничество, лакейство, подхалимство, ползание перед царем на животе, захлебыванье во вранье... И это, мол, сверху донизу, такой русский дух. Вряд ли понравилось бы Некрасову это оплевание России... Но Чуковского легко оправдать: статья, под эффектным заглавием "Поэт и палач", вышла при Советах, в ту первую эру, когда подобный тон в писаниях о царской России поощрялся. Особенно, если кое-где Ленина упомянуть, чего критик не забывает. Ныне эра другая. Писатели знают, что они все, что бы ни писали, всегда подозрительны. Выйди такая статья не 20 лет тому назад, а сегодня, чье-нибудь око усмотрело бы, пожалуй, в хлестком описании критика замаскированную картину современной Москвы...}.

Перед кем, собственно, оправдывают Некрасова? Перед людьми сороковых годов? Перед Тургеневым, перед иконой Герцена? Или перед шестидесятниками, Писаревыми и Базаровыми? Или думают, что Некрасов нуждается в оправдании перед новой литературой начала века?

Сороковые годы далеко, не услышат. Шестидесятники влились в общественность последующих десятилетий, которая просто забыла Некрасова и с поэзией его, и с "грехами". А что касается новой литературы (предвоенной), то Чуковский произвел среди ее представителей анкету, которую и приложил к своей оправдательной статье. Анкета - опять времен той же, первой советской эры. Там и Гумилев (только что расстрелянный); к нему, к Ахматовой, Блоку, Сологубу, Вяч. Иванову и другим Чуковский предупредительно прибавил Маяковского, Горького и каких-то, вероятно, знаменитых в то время, поэтов октября, но сейчас никому неизвестных. Оставим этих последних в стороне. А что ответила Чуковскому настоящая новая литература? Ответ, в общем, единогласный: все "любят", или в детстве любили некоторые пьесы Некрасова; никто не признает его влияния на собственное творчество; а жизнь его, поступки, "грехи" или "измены", - для всех "безразличны". Не интересуют.

Перед кем же, спрашивается, так старался бедный Чуковский оправдать Некрасова?

И зачем?

Если ни для кого не нужно это оправдание, то для самого Некрасова меньше всех. Мы увидим (если захотим), что он был в правде, даже в истине, когда искал только прощенья. Оправданье ему было ни за чем не нужно.

Один современный критик, человек со вкусом, но страдающий склонностью к парадоксам (все мы чем-нибудь "страдаем"), сказал однажды: "Некрасов - настоящий *поэт-христианин*". Утверждение весьма сомнительное, неточное: какой же "христианин", без Христа и христианства? С этим словом надо бы обращаться осторожнее. Да оно нам, для Некрасова вовсе и не нужно, если правда, что ему был послан великий дар - Совесть, если в песнях его плачет она, и ею терзались его душа и тело. Не она ли подсказала - не уму, а сердцу его, что не нужно оправданья, нужно прощенье? И прощенье было ему - не то что дано, когда-то там сразу, в предсмертный час, - оно давалось ему всякую минуту, на всякое его невнятное "прости".

Нет такой высоты, на которой можно было бы оправдаться, но нет и такой пропащей глубины, на которой человеческое "прости" не получило бы ответа.

Это прощенье (не наше, мы так прощать не умеем) Некрасов знал и, не зная о нем, осязал его, чувствовал, как глухой и слепой чувствует ветер, как больной чувствует прикосновение льда к горячей голове. Так - только так - знал он и Сказавшего: "Не здоровые имеют нужду во врачах, а больные", - Пришедшего и для него, чтобы исцелять-прощать.

Наше же дело, - маленькое, человеческое, - не суд над Некрасовым, с осуждением или оправданием, а только взор на него понимающий, и простые, скромные слова: большой поэт. Большой человек.

КОММЕНТАРИИ

Впервые: Русские Записки. Париж; Шанхай, 1938. No 3 <март>. С. 322-231. Эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова "Демону" (1855): "Что же со мною случилось? Как разгадаю себя?"

"жадно глядишь на дорогу" -- Н. А. Некрасов. Тройка (1846).

"молодость сгубила..." -- Н. А. Некрасов. "Тяжелый крест достался ей на долю..." (1855).

"Муза гнева и печали" - Н. А. Некрасов. "Замолчки, Муза мести и печали!.." (1856).

"Бурлаки" - из стихотворения Некрасова "Размышления у парадного подъезда" (1858): "Выдь на Волгу: чей стон раздастся... то бурлаки идут бечевой!..".

"Укажи мне такую обитель" - Там же ("Назови мне такую обитель...").

"Есть на Волге утес..." -- стихотворение (1864) А. А. Навроцкого (1893-1914), ставшее народной песней.

"Вперед без страха и сомненья!" - одноименные стихи А. Н. Плещеева (1846). За участие в кружке М. В. Петрашевского в 1849-1850 гг. он отбывал ссылку.

Чуковский (Корнейчуков Николай Васильевич) Корней Иванович (1882--1969) - писатель. Речь идет о его книге "Некрасов: Статьи и материалы" (Л.; 1926), 2-е издание под названием "Рассказы о Некрасове" (М.; 1930).

... присваивает чужие деньги... - об этой неоднозначной истории писали М. О. Гершензон в своей книге "Образы прошлого" (М.; 1912. С. 529) и В. В. Розанов (Собрание сочинений. Мимолетное. М., 1994. С. 174--175).

"Некрасов в Риме!" - пишет Герцен Тургеневу - письмо А. И. Герцена от 8-9 декабря 1856 г.

В столицах шум, гремят витии... -- одноименное стихотворение Н. А. Некрасова (1858).

Село Тарабогатай - в поэме Некрасова "Дедушка" (1870) село Тарбагатай.

Скабичевский Александр Михайлович (1838--1910) - критик и историк литературы.

Словно как мать над сыновней могилой... - начало поэмы Н. А. Некрасова "Саша" (1855).

Прости! То не песнь утешения... - Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

Тяжел мой крест. Уединенье... - Н. А. Некрасов. Несчастливая (1856).

Вспоминается пройденный путь... -- Н. А. Некрасов. Рыцарь на час.

Тяжелый крест... -- Н. А. Некрасов. "Тяжелый крест достался ей на долю...".

Тяжелый год... -- Н. А. Некрасов. "Тяжелый год - сломил меня недуг..." (1856).

Муравьев Михаил Николаевич (1796--1866) - граф, министр государственных имуществ в 1857--1861 гг. За подавление Польского восстания 1863 --1864 гг. прозван "вешателем". 16 апреля 1866 г. Некрасов принял участие в официальном чествовании Муравьева и прочитал в его честь тогда же уничтоженные и остающиеся неизвестными стихи.

"Поэт и палач" -- брошюра К. И. Чуковского, вышедшая с подзаголовком "Некрасов и Муравьев" (Пг., 1922).

"Не здоровые имеют нужду во враче, а больные" -- Мф. 9, 12; Лк. 5, 31.